



Antoni Bortnowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polska



<https://orcid.org/0000-0002-9963-1798>

**АЛЕКСАНДР ЛЮСЫЙ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ:
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИНИЦИАТИВ,
МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022**

ALEXANDR LYUSY, *ЦИВИЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ: ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ*, ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ
ИНИЦИАТИВ, МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022

The primary goal of the review of Alexander Lyusy's monograph *Цивилизация текстов: Текстологическая концепция русской культуры* (2022, "Civilisation of Texts: A Textological Concept of Russian Culture") is to highlight the distinctive features and innovative aspects of Lyusy's work, which, for the first time, offers a systematic study of local texts not merely as regional phenomena, but also as key components of a unified cultural paradigm of Russia. The monograph combines historical, philosophical, and literary analyses, making it a valuable resource for a broad audience of scholars across the humanities.

Keywords: local text, supertext of Russian culture, regional literature, urban text, mental map, textological concept of Russian culture

Antoni Bortnowski *Александр Люсый...*

ALEKSANDR LUSYJ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ: ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИНИЦИАТИВ, МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022

Głównym celem recenzji monografii Aleksandra Lusego zatytułowanej *Цивилизация текстов: Текстологическая концепция русской культуры* (2022, „Cywilizacja tekstów: Tekstologiczna koncepcja kultury rosyjskiej”) jest wskazanie najistotniejszych idei i nowatorstwa książki Lusego, który po raz pierwszy podjął próbę systematycznego zbadania tekstów lokalnych nie tylko jako zjawisk regionalnych, lecz także jako kluczowych elementów jednolitego paradygmatu kulturowego Rosji. Autor monografii połączył w niej analizy historyczne, filozoficzne i literackie, co czyni książkę użyteczną dla szerokiego kręgu przedstawicieli nauk humanistycznych.

Słowa kluczowe: tekst lokalny, supertekst kultury rosyjskiej, literatura regionalna, tekst miejski, mapa mentalna, tekstologiczna koncepcja kultury rosyjskiej

Монография *Цивилизация текстов: Текстологическая концепция русской культуры* продолжает исследовательский путь Александра Люсого, на протяжении многих лет занимающегося изучением локальных текстов. Исключительность предлагаемой работы заключается в попытке охватить все разнообразие региональных инвариантов русской литературы (культуры), взаимосвязь культурной географии России с творчеством конкретных авторов. Тем самым, как справедливо отметила в предисловии Ирина Фадеева, книга Люсого являет собой, несомненно, шаг в направлении выявления сверттекста – ни много ни мало – российской цивилизации.

Материал исследования организован в географическом ключе, в двух векторах: от центра к периферии (провинции) и с запада на восток (во втором случае с некоторыми отклонениями). Работу открывает обсуждение общей текстологической карты российского пространства, после чего наступает глава о Петербургском и Московском текстах, а затем читатель проделывает путь от Киева до Якутии, через Поволжье, Крым и Кавказ. Заключительная глава выходит за традиционно воспринимаемые «имперские» рамки русского культурного пространства, обращаясь к вопросу Китайского текста русской культуры. Следует сразу отметить, что при так грандиозной задаче – охватить огромное и неоднородное культурное пространство исторической России – автор был вынужден выделить основные или

наиболее показательные геокультурные константы, ключевые для выявления специфики общерусского сверткста. Любый уже во введении обращает внимание, что национальный семиозис в России отличается от региональных исследований на Западе, так как каждый локальный текст представляет собой не какую-то сугубо региональную точку зрения, а попытку концептуального раскрытия всей России. Структура монографии Любого указывает на еще одну особенность русской культуры, прямо не названную в исследовании, – конституирующее начало имперского прошлого, которое до сих пор является ключом к пониманию русской культуры. На это указывает присутствие в работе не только Киевского текста, но также в большей или меньшей степени Крымского или Кавказского, выходящих за рамки общепризнанных географических границ современной России. Впрочем, в первой главе Любый прямо указывает на ключевое значение не только пространственного, но и временного измерения культуры, заявляя о стремлении представить нынешнюю стадию осмысления «„эпистемиологического каркаса” пространственно-временного (выделение мое – А.Б.) континуума русской литературы и культуры в целом с ее самыми общими знаковыми ориентирами север–юг, восток–запад, центр–периферия, столица–провинция, культурно-текстуальные „горизонталь” и „вертикаль”» (24). Дополнительно, современные географические реалии в контексте рассматриваемых в книге вопросов теряют свою актуальность согласно сформулированной Кэтлин Парте и приведенной Любым концепции ментальной (духовной) карты:

Вторая ментальная карта – духовная. Он охватывает основные святые места – вне зависимости от русской границы, а также от того, реальны они или существуют только в воображении. Эта концепция не имеет отношения ни к так называемой национальной идее, ни к географическим или этническим данным, поскольку Святая Русь – это почти космическая категория (32).

Дополнительно вопрос границ русского культурного пространства осложняет еще одна разновидность ментальной карты – внутренняя, портативная, выражающая семантику

описанной философом Иваном Ильиным внутренней Святой Руси. Этот тип ментальной карты становится особенно актуальным в контексте анализа богатого эмиграционного наследия русской культуры.

В первой главе монографии Люсый обращает внимание на ключевой, как нам кажется, аспект духовно-пространственной динамики России, различая имперскую карту, склонную расширяться вовне, и внутреннюю, связанную с понятием «Русь» сакральную территорию, которая растворяется и удаляется в пространстве, становясь в итоге невидимой.

Кроме пространственного измерения, в первой главе автор уделяет внимание также временным рамкам исследования, которые на протяжении очередных глав будут сильно отличаться, преимущественно по объективным причинам. Ведь даже сравнение временного измерения Киевского, Московского и Петербургского текстов выявляет ключевые различия в данном вопросе. Одновременно все локальные тексты связаны с общерусскими предельными наррадигмами, в частности онтологическими парами «запад–восток» и «север–юг». Автор обращает внимание на нарастающую с веками проблему взаимоотношений России и Запада (или места России в Европе), а также на роль христианского наследия в русской культуре. Оба этих вопроса, постоянно находящих свое отражение в текстах культуры, несомненно, и сегодня не теряют своей актуальности.

Особо ценной, на наш взгляд, частью первой главы становится раздел, посвященный Северному тексту и попытке нарративного выделения русского «северо-юга», берущего свое начало еще в творчестве Гавриила Державина («Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных») и утвердившегося окончательно в пушкинскую эпоху. Приведенные Люсым очередные отражения в текстах культуры дихотомии «Север–Юг» доказывают, что данная оппозиция не менее актуальна для интерпретации русской литературы (и не только), чем более традиционная и закрепившаяся в общем сознании – «Восток–Запад». При этом, автор обращает внимание, что на фоне целостного, концептуализированного Северного сверткста (в который, в частности, встроен Петербургский текст) налицо «отсутствующая

структура» Южного текста, распадающегося на весьма отличные друг от друга Кавказский, Крымский и ряд других локальных текстов.

Вторая глава книги посвящена анализу Петербургского и Московского локальных текстов, их эволюции и интерпретации в литературе. Это основные ориентиры среди локальных текстов, к которым автор будет последовательно относиться в дальнейшей части монографии. Образы двух столиц обозначают еще одно измерение дихотомии локальных текстов (и одновременно всего русского культурного сверткста), прослеживающееся в работе Люсого – взаимодействие городского текста (текста цивилизации) и текста природы. Данная двойственность заметна и в Северном тексте (Архангельск на фоне арктического побережья), и в Волжском (Симбирск, Нижний Новгород на фоне Волги), и в Якутском (город среди бескрайней тайги).

Обращаясь к Петербургскому тексту, автор приводит известное высказывание Александра Герцена: «Россия ответила на вызов Петра колоссальным явлением Пушкина» (60), которое экстраполируется на теорию вызова и ответа Арнольда Тойнби. Следует отметить, что так же часто (а может даже чаще), как к Петербургскому тексту в качестве ориентира, Люсый в своей книге обращается к основополагающей роли творчества Александра Пушкина. Тем самым в очередной раз утверждается своего рода «пушкиноцентризм» русской литературы, инициированный еще Виссарионом Белинским.

Люсый отмечает, что основание Петербурга стало катализатором интеллектуальных процессов в России. Город изначально воспринимался как «царство Антихриста», возведенное вопреки народному духу. Литература стремилась «спасти» этот город, превратить его в сакральное пространство, связанное с упорядоченностью, гармонией и духовностью. Из такого положения вещей вытекают основные характеристики Петербургского текста. Это прежде всего дуальность: Петербург одновременно реален и мифологичен. Он предстает то городом-тюрьмой, то градом святого Петра. Другая особенность – это катастрофичность: город регулярно становится ареной различных, в первую очередь социальных и исторических, потрясений.

«Петербургский миф», закреплённый в *Медном всаднике* Александра Пушкина, становится стержнем Петербургского текста и выражением парадоксальности самого города. Как отмечает Люсый, «ощущая себя как искусственное образование, город осмысливает себя в культурной рефлексии как нечто возникшее вопреки природе и долженствующее вернуться в небытие» (72).

В концепции Владимира Топорова (достаточно подробно изложенной во второй главе) Петербургский текст рассматривается как многоуровневый миф, включающий реальность, культурные архетипы и литературные репрезентации. Люсый дополняет это, предлагая новую интерпретацию через призму герменевтики и посттопоровской традиции.

Если Петербург в русской литературе ассоциируется с рациональным проектом, насилием над традицией и европейским влиянием, то Москва символизирует глубинную архаику, патриархальную самобытность и религиозный центризм.

Выделяя особенности Московского текста, Люсый показывает тесное взаимодействие двух столиц в рамках общерусского культурного пространства. В работе справедливо подчеркивается контраст городов уже на почве их истории – если Петербург возник «ниоткуда», то духовные корни Москвы, согласно философско-политической концепции трех Римов, уходят в древность. Одновременно, сам Московский текст, по мнению Люсого, не намного старше Петербургского, так как его «отцом-основателем» в русской литературе стал в конце XVIII века Николай Карамзин. Возвращаясь к отличиям столичных культурных локусов, следует отметить, что идея Москвы как духовного центра противопоставляется Петербургу как городу светского рационализма. Одновременно Московский текст характеризуют гибкость и способность трансформироваться: в отличие от Петербургского текста, в котором структуры стабильны. Московский текст адаптивен и изменчив, что особенно заметно в XX веке. Автор на примере произведений множества авторов (Белый, Пильняк, Платонов, Леонов, Пастернак, Трифонов, Ерофеев и другие) показывает высокую динамику и всю сложность трансформации Московского текста в XX столетии. В то же

время, пока Москва в советскую эпоху из символа патриархальности и устойчивости стремительно становится главным интеллектуальным центром, Петербург постепенно превращается в музейную структуру. Каждому городу угрожает другая стихия (для Москвы губителен огонь, для Петербурга – вода), у каждой столицы есть «свой» классик русской литературы, сформировавший ее канонический образ (Лев Толстой, по мнению исследователя, стал для Московского текста тем, кем для Петербургского текста является Федор Достоевский).

Острая оппозиция между обоими городскими текстами, согласно наблюдениям Люсого, сглаживается лишь в постсоветское время, когда появляется некое подобие синтеза, результатом которого становится новая городская мифология. В литературе формируется «новый Петербург», который соединяет постиндустриальные мотивы с классическим наследием. Одновременно Московский текст усложняется, включая в себя глобальные урбанистические тенденции. Непреходящую актуальность обоих столичных текстов русской культуры на рубеже XX и XXI веков подчеркивают очередные литературные ипостаси Москвы и Санкт-Петербурга. В первом случае, в качестве примера приводится *Андеграунд* (1998) Владимира Маканина, во втором – повесть Игоря Вишневецкого *Ленинград* (2010), которую Люсий определяет как акт возвращения Петербургского текста в литературу.

В третьей главе книги Люсого анализируется феномен провинциальных и региональных текстов, их соотношение со столичными текстами и роль в формировании культурной идентичности России. Автор утверждает, что провинциальность является одним из онтологических свойств русского национального сознания. Это связано с историей России, которая долгое время оставалась закрытым традиционным обществом.

Вместе с тем дихотомия «столица–провинция» не является полностью аналогичной оппозиции «центр–периферия», так как определяется не только географически, но и культурно-семиотически. Провинциальность не столько связана с территориальной удаленностью, сколько с особым типом культурного восприятия. «В России состоялось формирование инварианта

двух субкультур – столичной как европеизированной и провинциальной как традиционной» (156).

Люсый отмечает, что провинциальные тексты часто становятся «памятью нации», фиксируя архетипические структуры и культурные трансформации. Кроме того, можно выделить ряд их характеристик, среди которых приведем три: медленное время – ритм жизни в провинции отличается от столичного размеренностью и консервативностью; локальная мифология – каждая провинция создает свои культурные коды и образы, не всегда совпадающие со столичной культурой; оппозиция центру – провинция воспринимает себя либо как отражение центра, либо как его альтернатива.

Череду региональных (провинциальных) текстов открывает Киевский текст, разбивающий в некоей степени традиционный в русской культуре московско-петербургский дуализм. Люсый в самом начале раздела напоминает, что Киевский текст изначально противопоставлялся не Москве, а именно Петербургу. Эта оппозиция впервые отчетливо проявляется у Гоголя, который видел в Киеве сакральный центр, связанный с древнерусской традицией, тогда как Петербург для него был городом чуждым, искусственным, западным.

Вместе с тем, у Киевского и Петербургского текстов много общего, во многом благодаря фактически скрепившему их в оценке Люсого роману *Белая гвардия* (1925). Бóльшая часть киевского раздела монографии – это сравнительный анализ произведения Булгакова и другого классического киевского романа, относящегося к украинской литературе, – *Города* (1928) Валерьяна Пидмогильного. Оба писателя представляют противоположные взгляды на Киев: Булгаков показывает город как арену катастрофы и разрушения, продолжая традицию Петербургского текста, Пидмогильный, напротив, изображает Киев как город возможностей, в котором провинциал может стать частью модернизирующегося мира. Читая книгу Люсого, посвященную ведь русской культуре, можно задать вопрос, при чем здесь роман украинского писателя? В данном случае, однако, соотнесение с Пидмогильным кажется не только оправданным, но даже желательным. Автор

делает вывод, что Киевский текст находится на пересечении имперского и национального мифов – в *Белой гвардии* он представлен как столкновение Запада и Востока, катастрофическое пространство, а в *Городе* – как место формирования украинской национальной идентичности. Современная литература во многом продолжает эту линию, показывая Киев как город с размытыми границами смыслов, где отголоски империи перекликаются с советским наследием, украинской национальной стихией и глобализацией.

После Киевского текста автор переходит к Волге как символу российской цивилизации, ее экзистенциальному и историческому коду. Люсый ссылается на идеи Льва Мечникова, который в книге *Цивилизация и великие исторические реки* утверждал, что великие реки формируют цивилизации. Волга в этом смысле аналогична Нилу, Тигру, Евфрату, поскольку стала основой российской государственности. Волжский текст в работе Люсого предстает во всем своем многообразии: от народных преданий о Разине, через *Грозу* Островского, *Обрыв* Гончарова, *В лесах* и *На горах* Мельника-Печерского, *Жизнь Клима Самгина* Горького, *Хождение по мукам* Толстого, до современной повести *Овсянки* Осокина. Люсый последовательно доказывает, что Волга – это не просто географический объект, а один из ключевых символов русской культуры, консолидирующий ее во времени и интегрирующий различные культурные слои: славянский, тюркский, финно-угорский.

Отдельное внимание в монографии уделено Сибирскому тексту, который воспринимается как особая форма регионального мифа. Люсый обращает внимание на неоднозначный статус Сибири, которая может рассматриваться и как «провинция», и как «колония», и как «фронтир»:

Экономическая интеграция края носила в основном колониальный характер, тогда как сквозной идеей культурного постижения была преимущественно идея *фронтира* (долгое время не озвученная), движущейся границы – и в связи с сибирским пространством, и в связи с внутренним миром погруженного в эти пространства человека (Толстой, Достоевский, Чехов, Гребенщиков) (210).

Раздел, посвященный Сибирскому тексту, лишенный более подробного анализа конкретных произведений, скорее указывает на научный потенциал вопроса и намечает направление для дальнейших исследований.

Третью главу завершают разделы о южных локальных текстах – Кавказском и Крымском. Первый стал выражением стремления к свободе, закрепил архетип «пленника» и одновременно отразил имперскость в русской культуре. Как отметил Люсый, Кавказ стал для русской культуры еще одним, но не прямым, а опосредованным «окном в Европу», именно культурно-философским «окном», позволившим русским (и в частности Пушкину) ощутить себя представителями империи. Люсый подчеркивает особую роль кавказского мифа в эпоху романтизма (Бестужев, Лермонтов, Пушкин) и его реалистическую трансформацию в творчестве Толстого (*Казак*, *Кавказский пленник*, *Хаджи-Мурат*). В современном Кавказском тексте образ южного региона переписывается заново, что выражено, в частности, в рассказе Маканина *Кавказский пленный*, представляющим собой постреалистическую трансформацию кавказской фабулы на основе ремейка всей литературной традиции XIX века.

Крымский текст, как утверждает Люсый, генетически является южным полюсом Петербургского текста. Ответом на имперский романтический («туристический», по определению Волошина) миф Тавриды стал «внутренний» миф Киммерии. Заключительный раздел третьей главы сосредоточен в первую очередь на поэтическом измерении Крымского текста (Бобров, Пушкин, Туроверов), которое вплоть до Волошина, увидевшего свой долг «в том, чтобы стать поэтическим голосом этой земли» (240), было взглядом извне. Осваивал в своем творчестве Крым также прозаик Иван Шмелев, которому в главе посвящено достаточно много внимания. В его апокалиптической эпопее *Солнце мертвых* (1926) через образы Крыма показана трагедия всей России, что в очередной раз подтверждает тезис о тяготении локальных текстов к общерусскому контексту.

В случае с Кавказским и Крымским текстами Люсый представляет богатый обзор сформировавших их русских писателей.

Одновременно, учитывая культурное и национальное многообразие регионов, в этой части монографии хотелось бы узнать что-нибудь о вкладе представителей других (кроме русской) культур, аналогично разделам о Киевском и Якутском текстах.

В четвертой главе автор исследует феномен Якутского текста как уникального литературного явления, формирующегося на стыке геопоэтики, этнокультурных мифов и исторической памяти. В данном случае также указан конкретный основоположник – романтик Александр Бестужев. Якутия в монографии рассматривается как культурный и геопоэтический феномен, в котором переплетаются архетипы холода, изоляции, тундровой бесконечности и экстремального существования. Люсый выделяет несколько этапов формирования Якутского текста, обращая внимание, что со временем он постепенно трансформируется от изображения пространства ссылки (Шаламов) к пониманию его как сакрального центра и особого цивилизационного рубежа. В частности, Люсый анализирует творчество Евгения Евтушенко, который в своих стихах создает поэтический образ Якутии как символа бесконечной свободы.

Отдельный раздел четвертой главы посвящен самобытности якутской поэзии, выходящей за рамки русской культуры уже в силу языковых особенностей, непередаваемых в русском переводе. Люсый доказывает данный факт на примере подробного анализа стихотворения *Красивая девушка*, написанного классиком якутской литературы Анемподистом Ивановичем Софроновым. Разбор этого произведения, хоть и не имеет прямого отношения к локальным текстам именно русской культуры, как нам кажется, дает возможность шире взглянуть на специфику и условия формирования Якутского текста на над-национальном уровне. По тому же принципу следует оценить широкий обзор наследия якутского поэта Алексея Кулаковского, переоткрытого и включенного в круг русской культуры благодаря переводам. В завершение рассуждений о природе Якутского текста Люсый обращается к современным его ипостасям, среди которых выделяет романы *Якутия* Егора Радова и *Холод* Андрея Геласимова.

Antoni Bortnowski Александр Люсый...

В пятой, заключительной главе монографии анализируется влияние Китая на русскую культурную традицию, исследуются китайские мотивы в русской литературе, а также рассматривается философский и эстетический диалог между двумя цивилизациями. Начался он еще в эпоху Петра I, который «прорубая окно в Европу», одновременно способствовал распространению китайских элементов в русской культуре. В художественной литературе «китайщина» утверждается на рубеже XVIII и XIX столетий благодаря творчеству Державина, Радищева и в очередной раз упоминаемого в монографии Пушкина. Первая часть китайской главы работы Люсого сосредоточена преимущественно на теме Китая в жизни и творчестве Пушкина (от юношеских стихотворений до *Евгения Онегина*). Вторая – посвящена в большой степени русскому эмиграционному поэту Валерию Перелишину, оказавшемуся после революции в Харбине. Феномен его наследия выражается главным образом в еще не вполне прочитанном аналоге *Евгения Онегина* – *Поэме без предмета*, истории русского Китая в поэтической форме.

Важно отметить, что, согласно наблюдениям Люсого, Китайский текст в русской литературе – это не только отражение Востока, но и способ самоидентификации России через диалог с другой цивилизацией.

Переходя к итогам, можно уверенно заявить, что монография Александра Люсого представляет собой новаторское исследование, объединяющее филологию, культурологию, семиотику и геопоэтику. Автор проводит детальный анализ локальных текстов, раскрывая их роль в формировании общерусского сверткста. В монографии впервые предпринята системная попытка изучения локальных текстов не только как региональных феноменов, но и как ключевых элементов единой культурной парадигмы России. Географический принцип анализа (от центра к периферии, с запада на восток и с севера на юг) позволяет увидеть эволюцию национального самосознания через литературу. Ключевую роль в данном случае играет понятие «ментальной карты», включающей сакральное, воображаемое и внутреннее пространства.

Монография объединяет исторический, философский и литературоведческий анализы, что делает ее полезной для широкого

круга представителей гуманитарных наук. Люсый использует множество источников – от античных мифов и народных сказаний до современной прозы и поэзии. При этом книга не ограничивается русскими авторами, анализируя также украинскую и якутскую традиции в русскоязычном контексте.

Исследование отвечает на современные вопросы национальной идентичности, места России между Западом и Востоком, а также на вызовы глобализации и регионализации культуры. Книга не только систематизирует локальные тексты, но и создает новый метод их анализа, связывая литературоведение с геополитикой, семиотикой и историей идей.

В завершение следует отметить, что *Цивилизация текстов: Текстологическая концепция русской культуры* – это фундаментальный труд по текстологии русской культуры, который может рассматриваться в качестве опорной точки для будущих исследований национальной идентичности, литературных мифов и геокультурных структур.

БИБЛИОГРАФИЯ

Люсый, Александр. *Цивилизация текстов: текстологическая концепция русской культуры*. Москва–Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2022.

Antoni Bortnowski – doktor, pracownik Zakładu Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania i badania naukowe: tekst kijowski, obrazy Kijowa w literaturze rosyjskiej (i światowej), pamięć, tożsamość, memuarystyka, геопоэтика. Najważniejsze publikacje: *Образ города в „Белой гвардии” Михаила Булгакова и в „Городе” Валерьяна Пидмогильного* („Русистика и компаративистика” 2021, nr 15); *Образ родного города в творчестве Виктора Некрасова (на материале „Записок зеваки”)* (*Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты*, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, I. Motejunajte, A. Smirnowa, Wrocław–Kraków 2021); *Kijów początków XX wieku w twórczości pisarzy pochodzenia żydowskiego* („Przegląd Środkowo-Wschodni” 2017, nr 2).

Kontakt: a.bortnowski@amu.edu.pl

Antoni Bortnowski Александр Люсый...